



## ГЕНРИХ БЕЛЛЬ

### Попытка приближения. Послесловие к роману Толстого «Война и мир»

При чтении этого романа, написанного более ста лет назад, легко упустить из виду, что он, едва выйдя в свет, уже принадлежал к категории «Исторический роман». «Война и мир» написана в 1863–1869 годах, тему романа составили события русской истории между 1805 и 1813 годами, эпилога — примерно 1820 года. Тридцатилетний Толстой выступил в этот долгий поход почти через шестьдесят лет после 1805 года; иными словами, его положение можно сравнить с положением автора, вознамерившегося в 1973 году написать роман, действие которого начинается 1914 годом. Если читатели и критики порой бранят авторов, которые спустя двадцать пять лет после 1945 года все еще занимаются Второй мировой войной, значит, они до сих пор не осознали, что не тема делает писателя, а писатель — тему. Любой роман, коль скоро он не утопический, является историческим, даже так называемый современный роман. Уже сам неизбежный временной промежуток между написанием и публикацией обращает использованный материал в историю. Временной разрыв есть величина относительная, тем более что даже историческая наука не приходит к «объективным» результатам: все может быть оспорено, все подлежит пересмотру, едва удастся обнаружить новые архивы, раскопать чью-то переписку либо открыть новый «аспект». На заднем плане многожды дискутируемых дат — 3.1.33, 30.6.34, 20.7.44 — накопились целые библиотеки исследований, тем не менее многое остается темным, необъяснимым, и тогда история, психология и литература, каждая сама по себе, предпринимает попытки приближения. Я не верю в конкуренцию между какой-нибудь наукой и литературой; литература предпринимает попытку приближения на свой лад, уснащая исторический материал персонажами, которые «не делали истории».

Пусть даже временной разрыв уменьшается, все равно желание современного читателя «одолеть» историю, признать ее «одоленной», желание, которому соответствует все возрастающий объем пережитой и грядущей истории, нетрудно понять. Тяга к современному и современности велика, антипатия к истории растёт, равно как и антипатия к теологии и потребность в мифе и слепой вере, зачастую с трудом распознаваемая, порой вообще скрытая под ложной оболочкой. Вполне возможно, что с подобной пресыщенностью историей связана потребность во все новых формах выражения, в некоем перманентном произведении искусства, которое меняется с каждым прыжком секундной стрелки и, однако же, продолжает существовать, сохраняя преходящее в непреходящем. Ежедневно — с полудюжины исторических событий, подписанные договоры, расторгнутые договоры, без войны, без гражданской войны, но с непрерывно нарушаемым перемирием; интервенция, военная помощь, вторжения, стратегия доллара, — но зато без войны. Войны нет. Мы пребываем в глубоком мире. Демонстрации, расстрел студентов, аресты бастующих рабочих, а время от времени какой-нибудь кинорежиссер, писатель, художник или композитор приподнимает крышку над целым обреченным на молчание континентом: Южная Америка, Центральная Америка, Африка, и мы получаем кой-какие сведения о скрытой, тайной истории целых континентов, чья официальная история определяется и пишется совсем в другом месте. Мы узнаем слишком много и слишком мало, но к тому моменту, когда это выходит из печати, все успело произойти, стало произошедшей историей. Что только у нас не «делало историю»! Вдруг возникает нечто, осязаемый, страшный знак: стена поперек Берлина. Разве стена с точки зрения страстно приверженного своему материалу автора, который считает своим долгом отказываться от того, чтобы поставлять заголовки для «Бильд», уже не есть ответ на прошлое и одновременно — настоящее, на накопленную историю, предположительно начавшуюся с рыцарей немецкого ордена (может быть, и раньше) из векового недоверия, обхаживания, из страха и восхищения, из неудачных попыток приближения Восточной Европы к Западной и наоборот, из попыток покорения с той и с другой стороны, а если к тому же вспомнить, что русская и немецкая история в тот ее период, когда обе страны могли худо-бедно ее «делать», покоилась на двух личностях, двух кузенах, называвших друг друга «Dear Willy» и, соответственно, «Dear Nicky», на двух донельзя жалких и абсурдных «носителях» европейской

истории, что была на свете Первая и была Вторая мировая война, а мира нет и по сей день, что историю делали люди, для которых Европа кончается на Рейне, ну, в крайнем случае, на Эльбе, тут и затажные оскорбления, и соблазны в мундире свободы — если все это вспомнить, то и возникает вдруг стена, которая не впускает и не выпускает; двери на замок и повернуться спиной. Вот тебе и Dear Willy, вот тебе и Dear Nicky. Один из них безумным образом был слишком «немец», другой безумным же образом слишком «русский», а физиономии у обоих были «английские». Поистине фантастическая «семейка», а к этому надо прибавить древний страх Западной Европы, что два этих великана, из коих один целиком, а другой наполовину принадлежал Востоку, могут сплестись в объятии, страх перед Германией и надежда на Германию, позднее обернувшаяся постоянным непризнанием желаний и политической силы многожды преданного «немецкого рабочего класса». Вдобавок существует не только Россия и не только Советский Союз, но и Польша, и еще Литва, Латвия, Эстония, и еще государство под названием Чехословакия, где воздвигнута страшная, невидимая стена. И на отдельных картах, которыми пользуются в ходе всевозможных конференций, видны на удивление неточные карандашные росчерки, хаотические каракули: непризнаваемая история Восточной Европы. Не подлежит сомнению: один человек за столом заседаний знал историю Восточной Европы. И внезапно через много лет полного непризнания возникает стена, преграждающая ток истории, потому что до сих пор не заключен мир. Ни мира, ни войны. А в условном конце почти не поддающейся измерению долгой истории вдоль стены вырастают высотные дома, отель, из которого, с головы до ног облачась в «человеческое достоинство», можно глядеть сверху вниз на тех, на кого таращатся без зазрения совести; даже люди, прибывшие с государственным визитом, и те не считают для себя зазорным подняться по лесенке, покачать головой, возмутиться и с волнением бросить быстрый взгляд вниз, делая при этом вид, будто не было на свете ни Первой, ни Второй мировой войны, ни Гитлера, ни Наполеона, ни вечного высокомерия Запада по отношению к Востоку, ни идеологии нелюдей, ни идеологии недочеловека, ни конференций в Ялте и Потсдаме, ни, наконец, наивного убеждения делающих историю вояк, что Берлин — это не так уж и важно. Тем самым и Запад и Восток пали до значения обычной достопримечательности. Лишь безоговорочный поэт может стремиться к неисторичности либо отстаивать ее как некую искусственную позицию. Вдобавок на это способны поли-

тики или делающие историю военные, которые силятся решить проблемы легко нарушаемых и многократно нарушенных границ, это столпотворение европейских границ на александрийский лад, не будучи при этом Александрами.

Я не понимаю отсутствия чувства истории у тех, кто загодя отрицает поэзию (в поисках новой, которая будет носить другое имя) и одновременно осуждает неуклюжие политические и военные попытки, вполне соответствующие аналогичному непризнанию истории. Мне, во всяком случае, чтение «Войны и мира» (и, само собой, подобных книг) лучше объясняет стену в Берлине, чем звучащие по обе ее стороны высокопарные фразы, и я готов признать, что слишком далеко отошел ради подобной защиты вдвойне исторического романа. Но, возможно, то, что находится вблизи, как раз и хорошо объяснять, отойдя для этого подальше.

Что ж это за страна такая, где немцы всегда ощущали себя «более русскими», чем сами русские (так же немцы всегда были большими католиками, чем все римские папы вместе взятые)? Есть много возможностей познакомиться с этой страной: вся литература России, эти продолжительные прогулки, а одной из них, причем одной из самых важных, и будет «Война и мир». Вдвойне исторический роман гигантского объема! Этот роман всегда современен, как его ни рассматривай. Его бессменная и неизменная популярность имеет много причин. Отнюдь не заслуживающая пренебрежения жажда информации является первой причиной, а та, в свою очередь, связана со второй, которую я лучше выражу способом от противного, ибо наше отношение к «развлекательной» литературе нарушено каким-то патологическим образом: книгу не скучно читать; спору нет, в ней есть длинноты, есть целые пассажи, в которых автор своевольно и своевольно утверждает свое право изложить собственные взгляды; я предостерегаю читателя от намерения проскочить эти пассажи и тем избавить себя от авторского своеволия. Каждому автору положено свое словоупотребление, каждому автору — свои длинноты и свое своеволие. Наше восприятие словоупотребления — надеюсь, не окончательно — изуродовано образованностью. Книга, которая понятна, которая доступна, навлекает на себя упрек в журналистской облегченности, а уж книга, которая «развлекает», она и вовсе, господи, как же это называется, она сделана «на газетном уровне». «Настоящий» немецкий язык — это ведь тот псевдомистический жаргон, который в кругу посвященных именуют средне-верхне-богемским. Книга должна быть трудночитаемой, почти непонятной, а если она под конец вдруг делается

«популярной», тогда ее надо поскорей отбросить, не то испачкаешься, ибо популярная «по сути говоря» означает вульгарная. Тот, кто читает, чтобы читать, просто чтобы читать, потому что, допустим, это его забавляет, у того ведь и нет никаких запросов. И тяги к образованию, и, возможно, должной подготовки, и наверняка предварительного образования. Как может, например, этот некто судить о толстовском Наполеоне, если он исторически необразован. Что это за человек, который без малейшей подготовки едет в Италию и там, скажем, впервые лицезреет удивительнейший город Сиена? Должен признать свою вину: я из этой породы — и как читатель тоже. Тоже. Тоже. Ну, конечно, я между делом малость «образовался», потому что меня это забавляло, и — отрицать не имеет смысла: я тоже автор, пишу романы, все сплошь попытки приближения к необъяснимостям новейшей немецкой истории. Вдобавок я наделен свойством, не зависящим ни от образования, ни от писательства: я любопытен, любопытен до такой степени, которая порой заставляет меня остановиться лишь на самой границе бестактности. И после третьего прочтения «Войны и мира» мое любопытство не удовлетворено, то самое любопытство, которое способно довести до белого каления литературных критиков, свести с ума читателей, авторам же, не до конца выдавшим свою тайну, доставить огромное удовольствие, вот, в частности, любопытный вопрос: а где же в романе скрывается этот тип, автор, как он замаскировался, где спрятался? Разумеется, его сразу замечают, едва он возденет указательный палец и начнет поучать, но мне-то к чему указательный палец, я желаю получить автора целиком, увидеть его. В силу укоренившегося предрассудка (и кто только дал ему ход?) автор чаще всего прячется за каким-нибудь симпатичным героем или героиней. Я так не думаю, да, да, я так не думаю, потому что наверняка я знаю лишь очень немного.

Вероятно, существует возможность действительно обнаружить автора в его произведении: надо сложить всех, повторяю, всех персонажей, от слуги, который приносит стакан воды, до своего рода исторических личностей, Наполеона и тому подобное, — всех персонажей, которые появляются и исчезают, мужчин и женщин, независимо от того, мужчина или женщина сам автор, а сложив, попытаться извлечь из этой суммы корень седьмой степени.

Признаюсь честно, сам я этим методом не владею и возлагаю все свои надежды на кибернетику, которая в один прекрасный день выплюнет нам из какой-нибудь машины данные о любом

авторе. До тех же пор я, как, впрочем, и любой другой читатель, вынужден отыскивать автора старым, несовершенным способом, перечитывая собрание его сочинений и заглядывая каждому его персонажу в глаза, в рот, а коли понадобится, и под юбку.

Биографии — это обычно и есть неудавшиеся попытки приближения, автобиографии — попытки постыдные, я думаю (опять это чертово: думаю!), что автобиография автора таится в собрании его сочинений. Однако меня интересует не только сам автор, но и нечто другое: вещественное, материальное изображение русского дворянства, его легкомыслие и легковесность, его возможные заслуги, его расточительство, его снобистская жажда удовольствия, да и вопрос о его человеколюбии еще остается открытым.

В «Войне и мире» есть немало «исторических моментов», когда вся тяжесть истории ложится на плечи незначительных персонажей. Наташа Ростова, которой дано множество «выходов», имеет свой величайший «выход» в час бегства из горящей Москвы. Мучительно понятная для миллионов людей в этом мире разница между бегством и переездом, разница, еще не позабытая множеством из нас, особенно мучительная (такова месть истории) для людей состоятельных. Покуда Ростовы готовятся к бегству, причем выясняется, что у них есть специальная гардеробная карета и собственный учитель танцев — немец с семейством, вспыхивает обычный спор на тему, что брать, чего не брать, сверх того надлежит решить, чему отдать предпочтение, то ли мебели, платью, книгам, то ли раненым. А чтобы уж окончательно переполнить чашу, является немец — зять Берг, у него возникли кой-какие идеи мебелировки, ему как раз предложили шифоньерочку и туалет... «Такая прелесть», и главное — почти даром (господи, когда весь город все равно сгорит!), как раз такую, какую он давно уже хотел подарить своей жене. И кто же выносит решение в этом споре, который разрастается как снежный ком всеобщего раздражения? Отнюдь не господин граф и не госпожа графиня и даже не эта посредственность Берг. Тут наступает исторический миг для Наташи, «выход» ее заключается в том, чтобы принять самое естественное решение, каковое она и выражает весьма двусмысленно: «По-моему, это такая гадость, такая мерзость... Разве мы немцы какие-нибудь?» Если немца поразить этим прямым попаданием, он огорчится и одновременно возрадуется — возрадуется, будучи немцем, потому что начисто лишен самопонятия, или как это еще называют, но потом он все-таки огорчится, не может не огорчиться, как представитель той породы, которая называет-

ся человек и к которой он, как ни невероятно это может показаться, в конце концов принадлежит. Разумеется, всем нам известна эта фетишизация собственности, типичная для миллионов беженцев, которые судорожно хватались за банку с вареньем, подушку либо цветочный горшок. Скажете, это по-немецки? Разве мать Наташи и ее отец, который не может решиться на само собой понятное, хоть самую малость не немцы? Может, и немцы-то лишь во время Второй мировой войны научились ценить ту престранную собственность, которая называется жизнь; их, верно, никогда не учили жить ради жизни, как не учили читать ради чтения, тяготеющее над ними проклятие обернулось для них благословением, вечным поиском «смысла» жизни, пусть даже они обретают этот извращенный до фетишизма смысл в цветочном горшке.

Энергичное решение Наташи в числе прочего имеет следствие — и это делает ее решение столь же энергичным, сколь и «романтическим», — что вместе с другими ранеными под опеку семейства Ростовых и тем самым в непосредственную близость к Наташе попадает ее бывший жених князь Андрей Болконский. Современный роман (ист) презирает подобные сплетения, читающий автор перестает с этого места доверять собственной наивности, непредубежденный же читатель может, отдавшись своим мыслям и чувствам, сказать самому себе: «Это ж надо!» Он должен также, ни в малой мере не приобретя от этого какие-либо комплексы, принять заплетенные таким образом нити романа за «чистую правду» и поверить в хэппи-энд, не тот, которым действительно завершается книга, а в напрашивающийся идеальный хэппи-энд, где Наташа и Андрей Болконский снова «найдут» друг друга. Читателю следует также знать, что Толстой и впрямь какое-то время рассматривал возможность дать роману «Война и мир» банальнейшее из всех названий «Конец — делу венец». Название, пожалуй, отталкивающее для интеллигента, способное привлечь его разве что каким-нибудь окольным путем. В мировой литературе насчитывается немного романов, столь подходящих для того, чтобы научить людей читать. Толстой постоянно идет навстречу своему читателю и постоянно его отпугивает, ибо снова и снова вздымает перст указующий. Но нигде даже намеком не угадывается желание подладиться, которое равно может проявляться как в неизменном «идении» навстречу, так и в неизменном отпугивании.

Уже в первой части романа, на которую падает почти одна десятая его общего объема, совершается выход на сцену действу-

ющих лиц, которые в зависимости от времени, истории, обстоятельств и среды предстанут в окружении лиц второстепенных: действующие лица, которых Толстой иногда придавливает целыми главами из философии либо военной истории, они же, стряхнув пыль с волос, вылезают из-под этих глав живыми и невредимыми. Не прошло и ста пятидесяти страниц, как они уже все тут: Курагин, Ростов, Друбецкой и Болконский, появляется вдобавок и тот странный, неуклюжий и тучный человек, тот вечно рассеянный Пьер Безухов, который наделен сомнамбулической способностью оказываться в нужный момент в нужном месте и — как дурень из сказки — получать самую красивую девушку, самые большие деньги, самую интересную историю: огромное наследство отца, на которое он, учитывая толпу в комнате умирающего и его собственную неловкость, едва ли мог рассчитывать. Бородинское сражение, пожар Москвы, нелепость Наполеона да вдобавок еще то событие, которое в подобные дни не следовало бы упускать ни одному современнику: арест и плен, да вдобавок ему достается еще и Наташа Ростова. Пьер Безухов наделен проклятым сходством с тем парнем, который, не имея иного богатства, кроме дохлой вороны в одном кармане и пригоршни уличной грязи в другом, оказался единственным, кто заставил принцессу съесть обед и рассмеяться. В образе Безухова Толстому удалось нечто, едва ли удававшееся другому романисту: удалось изобразить героя, которому читатель вполне симпатизирует, но с которым никоим образом себя не отождествляет. Дурней на свете много, но лишь немногим из них достается принцесса, кто же по доброй воле согласится стать дурнем ради весьма небольших шансов, предлагаемых сказкой? Кто, читая роман в первый раз, посмел бы поручиться, что про историю этого самого Пьера можно будет сказать: «Конец — делу венец»? Этот приятный человек средних способностей, склонный к размышлениям, но отнюдь не мыслитель, однозначно и бесспорно принадлежащий к мужскому полу, но отнюдь не похожий на «настоящего мужчину», этот очкарик, в чью греховность как-то трудно поверить, и все же рядом с ним даже всемогущий фельдмаршал Кутузов предстает шаржем; этот дилетант, чьи реформы в поместьях терпят крах, ибо он слишком ленив, чтобы заниматься нужными науками и подыскивать нужных людей, человек, легко поддающийся на самый старый и глупый из всех трюков, при помощи которого его заставляют жениться на Элен Курагиной, вот он бредет по горящей Москве с ребяческой мыслью — убить Наполеона, неудавшийся миллионер, который у солдатского костра обрадуется



миске похлебки и ломтю хлеба, — это он — герой романа, и это ему досталась невеста. Наташа принадлежит ему, он же, сам того не ведая, по чистой случайности попадает именно в то место, где решается исход Бородинской битвы, он, едущий в нелепом здесь партикулярном костюме через позиции, окажется «фронтовиком». И не Толстой ли первым из авторов привнес в войну тот компонент, которого мы по-прежнему избегаем, ибо для нас «героизм» и «судьба» по-прежнему священны, — компонент нелепости тех, кто делает войны.

Раскольников Достоевского и его «Идиот» появились почти одновременно с «Войной и миром» (1866 и 1868). Поскольку я не допускаю, чтобы один заглядывал в рукопись к другому либо позволял заглядывать в свою, может показаться случайностью, что Раскольников и князь Мышкин (в «Идиоте») обнаруживают известное сходство с тучным Пьером. Разумеется, ни Раскольникова, ни Мышкина даже в мыслях нельзя себе представить толстым, именно в таких, с виду второстепенных, физиологических деталях скрыта подспудная возможность понять двух великих антиподов русской литературы девятнадцатого века во всем их несходстве, во всем противоречии метода, каким они овеществляют свои представления. Лично я вижу Раскольникова и Мышкина на редкость худыми; единственные из молодых героев Достоевского, у кого я готов допустить известную степень полноты, являются, на мой взгляд, злополучный Михаил Карамазов и на удивление симпатичный Разумихин, друг Раскольникова; можно себе также представить, что и Алеша Карамазов в будущем отложит кой-какой жирок. Лишь несколько раз на протяжении более чем полутора тысяч страниц Пьер Безухов окажется в том состоянии, которое неизменно сопутствует молодым героям Достоевского, лишь несколько раз он выйдет из себя: в ссоре со своей невыносимо злобной женой и после попытки его шурина Анатоля похитить Наташу.

В такие минуты Пьер готов сражаться на дуэли, хотя прекрасно знает, как смешны дуэли. И еще в одной детали овеществления разнятся Толстой и Достоевский — в материальном воплощении проституции. Я считаю Сонечку Мармеладову одним из бессмертных женских образов мировой литературы, но я и по сей день не верю, что она была проституткой, а у Масловой в толстовском «Воскресении» я этому верю вполне. Вот как она стала проституткой — это уже другой вопрос.

Возможно, читателю выход всех действующих лиц на первых же ста пятидесяти страницах романа и не покажется столь рискованным, как показался он читающему автору.

Дерзновенны все большие романы Толстого — дерзнул и победил: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». В первой части «Войны и мира» появляется все московское и все петербургское общество, сельская и городская знать, чуть ли не целый полк, целые роды, доброе и злое, болтовня, лицемерие, одиночество, дети, взрослые, старцы, изъясняющиеся на французском диалекте, запоздалые Вольтеры и Руссо; интриги, великодушие, подлость. Какая судьба ожидает их всех и прежде всего этого недотепу Безухова, который что думает, то и говорит?

А через одну тысячу четыреста страниц можно подводить итоги: война, мир, Россия между 1805 и 1813 годами, ее общество, ее страхи, ее злое спокойствие, ее крестьяне, ее солдаты, купцы, ее лукавая медлительность по отношению к Наполеону, который неверно истолковал оставление Москвы, а потому и ожидает перед ее воротами, когда бояре начнут воздавать ему почести, ожидает и гневается, что его заставляют так долго ждать, а потом вступает в безмолвный, объятый ледяным молчанием город, в эту ловушку, уже занявшую там и сям, чтобы потом полыхнуть ярким пламенем, император, у которого достало авантюризма двинуть свои войска к этому бесконечному горизонту. Кто, читая про год 1812-й, не вспомнил о 1941-м, когда проявилось другое, еще более глупое, бахвальство и непонимание Востока европейским Западом: вступление немецкой армии, которая между июнем и июлем возьмет Ленинград, и Сталинград, и Москву, а одновременно за четыре с половиной месяца победит и русскую зиму, не будучи хоть сколько-нибудь к ней подготовлена. Разумеется, стратегические воспоминания уделяют много места теме «если то, если это». Ответ однозначен: самая холодная зима за последние сто лет не оставила места ни для каких «если». Великие полководцы могут впоследствии размышлять о том, что было бы, если бы, — автору это не дозволено. «Березина» Гитлера растянулась на целых три зимы, а кончилось все обугленным трупом перед одним бункером в Берлине и преданным, проданным, покинутым народом, чтобы еще спустя двадцать пять лет с высоты Шпрингера и с крыши отеля «Хилтон» можно было глядеть «сверху вниз» как на обезьян в зоопарке, не замечая при этом, что все явственней проступает наружу собственное обезьянство. Нет, нет, люди, конечно, стремятся к свободе, но что значит получить свое освобождение из рук немцев — это они не так скоро забудут.

Поскольку я наделен (счастливой, может быть) склонностью забывать содержание и вспоминать его лишь в вещественном во-

площени, меня при каждом повторном чтении «Войны и мира» в конце первой части, которую можно рассматривать как своего рода экспозицию, охватывает один и тот же страх: как он справится с этим великим выходом героев и проведет их через все времена. Разумеется, мне известно, что существует два главных носителя действия, на которых автор в известной степени может положиться: женского рода — это война, и мужского — это мир; знаю я также, что у Наташи не все будет гладко: идеальная пара, Наташа Ростова и Андрей Болконский, никогда не соединятся, а злой, искусно выполненный замысел старого Курагина при помощи сводничества заграбастать два больших состояния, Болконских и Безухова, из которых удастся только одно, да и то на время, — замысел этот в «Конец — делу венец» пойдет прахом. Автор позаботился даже о финансовой компенсации — разорившиеся из-за своего мотовства Ростовы могут облегченно вздохнуть: Наташа выйдет за Пьера, а Николай женится на Марии Болконской. Ну не сказка ли это? И не удался ли Толстому грандиозный широко задуманный обман с его заурядным будничным Безуховым, которого каждый считает таким «достоверным». А разве на самом-то деле он не менее достоверен, чем Наполеон и Кутузов, чем весь этот исторически достоверный передний и задний план, эта многослойная, как у добротной картины, грунтовка, которая потребна Толстому, чтобы создать почву под ногами у Безухова.

До хэппи-энда осталось еще восемь лет и одна тысяча четыреста страниц романа, впереди еще четырнадцать частей плюс эпилог и не менее трехсот пятидесяти трех глав. Благосклонному читателю подобные арифметические выкладки могут показаться малозначащими, недостойным расчленением, но для читающего автора они исполнены не меньшей значимости, чем все содержание книги и все действующие лица со всеми их проблемами. В конце концов, и каждый роман подвергается расчленению, вымаркам, расклейке, изменениям — и все это вместе взятое называют композицией; расчленение входит составной частью в процесс, который принято именовать творческим. Подобные цифры и подсчеты доводят до нашего восприятия ритм и дыхание, которое автор должен на столь долгом пути расходовать очень бережно. Средний объем каждой из пятнадцати частей составляет примерно сто пять, каждой главы — четыре-пять страниц. По счастью, ни одна из частей и лишь немногие из глав достигают этого «среднего объема». Поддающееся исчислению оказывается неподдающимся; разумеется, подобный роман нельзя

постичь с помощью четырех арифметических действий, и, однако же, в нем есть своя конечность, своя длина и даже длинноты, есть свое предпринятое лично автором деление на книги, главы, подглавки. Не знаю, существуют ли уже кибернетические замеры ритмики романа, я считал бы это очень поучительным, а если они уже существуют, я охотно подверг бы сравнительному анализу «Войну и мир» и Раскольниковова, чтобы увидеть друг подле друга две эти пробы дыхания. Возможно, и та и другая, будучи подвергнуты ритмическому просвечиванию и материализованы, явили бы взгляду фантастические графики как побочный продукт литературы. А вот и еще одно сопоставление Толстого и Достоевского, если свести к краткой формуле: у Толстого даже в самом коротком из его рассказов долгое дыхание, у Достоевского — короткое, почти прерывистое. В Раскольникове уже проявляется сенсационное для девятнадцатого века ужимание времени. Никак нельзя узнать, да и незачем, сколько продлится действие романа, то ли три дня, то ли пять, то ли недели, то ли месяцы, — роман все равно закончится через мгновение. У Толстого словно шагаешь через столетия. В начале романа Наташе едва сравнялось тринадцать, в реальном конце ей двадцать один год, всего восемь лет, но эти восемь кажутся вечностью. Если лишить выражения «долгое дыхание» и «короткое дыхание» того негативного оттенка, который присущ им в немецком языке, и воспринять их просто как «техническую характеристику», можно будет распознать различную ритмику. Достоевский, во всяком случае поздний Достоевский, даже в самых объемных своих романах, которые также порой достигают тысячи страниц, поражает своим «коротким дыханием». Разумеется, здесь видна также разница в методах и условиях работы.

В этой попытке приближения я выражаю уверенность, что Россия девятнадцатого столетия хорошо увековечена и выражена благодаря этим двум столь различным авторам. Толстой автор, как ни странно, более молодой, хотя и представляется нам более старым, ибо дожил до глубокой старости. Я не могу ввести в ход своих рассуждений такие звезды первой величины, как Пушкин, Гоголь, Чехов, Лермонтов и Гончаров, либо многочисленные звезды второй величины русской литературы девятнадцатого века, что было бы необходимо, дабы хоть в малой степени создать фон для определения «русский». Настолько ли Пьер русский, как Наташины немцы — немецкие, этот человек, который как раз на середине романа думает про себя: «А вместо всего этого — вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке,

любящий покушать, выпить и, расстегнувшись, побранить слегка правительство, член московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с тою мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад».

Так кто же русский — он или разбитной Долохов, с которым он дерется на дуэли? Или Андрей Болконский, или, наконец, малость ограниченный и не слишком умный Николай Ростов, который обманул Соню? А как насчет Анатоля Курагина либо проныры и преуспевающего карьериста Бориса Друбецкого? Кто же «более русский» или, если угодно, «самый русский» из них всех? Может, следует сделать то, чего делать нельзя, — возвысить определение нации, довести его до превосходной степени, чтобы в результате убедиться, насколько оно сомнительно. Что это за свойство такое, если его нельзя возвести в превосходную степень? И куда прикажете деть образы Достоевского, Пушкина, Гоголя? Можно ли сказать, что князь Мышкин более русский, чем обаятельный маленький Петя Ростов, которому суждено погибнуть в последние минуты войны и которого так легко себе представить в виде добродушного и громогласного дедушки перед камином.

Возможно, методы, предложенные мною, чтобы отделить автора от его творений, следует распространить и на целые нации: сложить воедино всех героев ее литературы, ее политики, ее промышленности и сельского хозяйства и т. п., а затем извлечь корень из этой огромной суммы и лишь тогда приобрести право употреблять определение «русский» или «немецкий». Разумеется, нации всячески рекламируют своих героев и ни один русский не захочет отказываться ни от одного из них: ни от Разумихина, который настолько же русский, как и все остальные — и как никто, ни от Левина и ни от Вронского, Курагина или Болконского. Не без зависти я должен признать: в русской литературе существует густонаселенный космос из мужчин и женщин, мы обходимся со своими персонажами более экономно, — но что все-таки можно хотя бы приблизительно назвать типично русским, так, чтобы использовать это определение без малейших сомнений? Если точно присмотреться к тому, что в одной «Войне и мире» обозначается как типично немецкое, то и без прямого попадания Наташи остается достаточно пороха в пороховницах. Вот приводят пословицу: «Немец на обушке молотит хлебец», а в штабе полным-полно немецких советников. «Пфуль был один

из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми бывают только немцы, и потому именно, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего государства в мире, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. Но он был типичнее всех их.

Такого немца-теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще не видал никогда князь Андрей».

Пусть англичане, французы либо итальянцы испытывают неудовольствие от столкновения с характеристикой собственной нации, я пишу это как человек, у которого есть все основания считать себя немцем.

Краснеем ли мы, прочитав эти строки, стыдимся ли или сердимся? Не кажется ли нам, что в них содержится известная доля, к сожалению лишь известная, доля правды? Не есть ли идеологи ГДР своеобразные Пфули восточного блока, которые всегда все знают, знают лучше, чем другие, которые обладают «мнимым знанием», «совершенной истиной»? И не «пфульничают» ли суровые прагматики из ФРГ в западном лагере? Не были ли все великие стратеги завоевательной войны против Советского Союза в большей или меньшей степени Пфулями, которые одержали бы победу, не нагрянь — да, да — не нагрянь самая суровая из всех зим за последние сто лет? Но зима нагрянула, нагрянула также и для Красной Армии.

Я отнюдь не льщу себя надеждой хотя бы приблизительно решить проблему национальных характеристик, суждений и предрассудков. Я просто спрашиваю себя, не лучше ли было бы на какое-то время отказаться от характеристик до тех пор, пока компьютеры, которые еще только предстоит изобрести и которые, возможно, будут шириной в два метра, если их напищать

всевозможными данными, не выдадут в ответ карточку, на которой будет стоять четкая формула того, что следует называть «русским» или «немецким». До сих пор ни одна нация, ни один народ, ни одна национальная литература еще не начала подвергать пересмотру те прилагательные, которыми обозначают самих себя и других. Нельзя отбирать приметы той либо иной нации, как нельзя и сократить их до нескольких авторов, а то и вовсе нескольких героев. Экспортируемая литература подвержена опасности случайной оценки. Генрих Гейне стал бы и важней, и отчетливей, если бы его можно было увидеть в противопоставлении Штифтеру. Для некоторых стран Вагнер олицетворяет всю немецкую музыку, а в чем недостаточно вагнеризма, то не считают немецкой музыкой. Когда, на каком этапе немец перестает быть немецким в глазах иностранцев? Кто более русский — Толстой или Достоевский? Какие два автора могут быть более удалены друг от друга? Кто больше американец — По или Джек Лондон, больше немец — Штифтер или Гейне? А Гёльдерлин? Кто способен измерить расстояние между ним и Гейне? Разве Штифтер в своем качестве кроткой нелюди, как обозначил его Арно Шмидт, не наделен угнетающей современностью, разве он с его сосредоточенностью на предметах, камнях, мебели, тогда как люди загадочным образом остаются «под маской», не является перенесенной в девятнадцатое столетие модификацией «нового романа», разве фривольность и злость Гейне не носит скорее рейнский, нежели еврейский характер? Когда, кстати, приступят наконец к исследованию этого словесного континента «еврейский»?

Если еще раз свести к формуле: Толстой — писатель деревни и сельского хозяйства, Достоевский — писатель большого города. Едва ли сыщется более удачное воплощение земли и природы, ее людей, ее зверей, чем вмонтированная в «Войну и мир» волчья охота, невольно думаешь, что это и есть настоящая Россия, но есть и другая — обыватели и интеллигенты Достоевского в больших городах. Земная религиозность Толстого и мистическая — Достоевского. Я решительно отказываюсь — и намерен отказываться впредь — кого-то из них предпочесть. Я беру их обоих вместе с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым и еще многими другими, и тогда, до того, как мы установили этот гигантский компьютер, у меня будет в руках нечто, что я смогу назвать приблизительно русским.

Толстой и Достоевский имеют также различное значение и по-разному воспринимаются в Советском Союзе. Пушкин, Го-

голь и Толстой, пожалуй, меньше всего идеологически оспариваемы, и кому покажется удивительным, что с позиций идеологических Толстой был из самых любимых и таковым останется всегда. Автор, которого — если это слово вообще еще годится к употреблению — можно назвать величайшим реалистом русской литературы, которого, когда он был еще молодым человеком и собственными глазами наблюдал смерть брата Николая, после похорон осенила мысль написать материалистическое Евангелие «Жизнь Христа как материалиста», автор, о котором не кто иной, как Ленин, сказал: «До этого графа настоящего мужика в русской литературе не было».

Через пятьдесят лет после революции, в год столетия Ленина, наблюдаются признаки того, что — хотя время Толстого, Пушкина или Гоголя и не прошло — приходит время Достоевского. Безграничная благодарность и почтение, с каким относятся в Советском Союзе к литературе, отнюдь не приводят к тому, что один автор сменяет другого, — это выглядит так, как если бы благодаря Достоевскому был наконец-то заполнен давний пробел. Что не всегда зависит от дозволенной высоты тиража. По слухам, многие рукописи Солженицына, не напечатанные, но размноженные подпольно, циркулируют в двадцати-тридцати тысячах экземплярах. Что, в свою очередь, предполагает несколько сот тысяч читателей. Подобный автор, даже если его не печатают, присутствует в литературе, вот так же присутствует в Советском Союзе и Достоевский. Нельзя не заметить, что ренессанс Достоевского тесно связан с возрождением религии. Уж не собираются ли Запад и Восток поверх всех и всяческих стен обменяться своими позициями? Само собой, не на уровне их администрации. Администрация будет и впредь размахивать на Западе флагом христианства, во всяком случае не спустит его, а у Востока по-прежнему будет красоваться на флагштоке знамя атеизма. И оба эти флага будут по-прежнему вводить в заблуждение поверхностных наблюдателей. Затем будет отвергнут как дань моде социальный материализм, который сейчас поднимает голову на Западе (для подобных социальных материалистов Толстой, сказавший некогда: «Собственность есть причина всех зол», — может служить своего рода Библией), и по тем же причинам будет отвергнут религиозный ренессанс в Советском Союзе. А в противостоянии, скорей всего, ничего не изменится: западные прогрессисты отвергнут новое развитие в Советском Союзе как реакционное, а на Востоке провозгласят западную точку зрения социальной иллюзией. При исследовании ожидаемых событий важную роль сыграет та-



кое произведение, как «Бесы»: убийство Шатова, происходящее в тот момент, когда он вознамерился начать «новую жизнь», эта бессмысленная интеллектуальная игра как орудие послушания, устанавливающая одновременно магическую связь через кровавый грех, — эта игра будет повторяться снова и снова. Толстой гораздо более земной, материальный, вещественный. Достоевский — более духовный, более «неудобный», вплоть до вещественных деталей, как, например, отношение его главных героев к еде: если выразить это на современный лад, то все они — заведомо буфетов, забегаловок, поедатели сосисок, тогда как герои Толстого охотно и обильно восседают за столом.

В России девятнадцатого века великие слова Свобода, Равенство и Братство упали на почву совершенно иную, нежели западноевропейская. Отношение России к гуманизму — включая сюда всю спорность, произвольность, все штампы, все фальсификации, которым подвергалось это понятие, — резко отлично от западного. История по-другому ввела эти слова и понятия в Россию, да и по сей день там многое остается по-другому. Вот и понятие «солидарность» имеет до сего дня другую историю и другие привычные способы осуществления. Политическое заключение там выставляли и выставляют напоказ, как на Западе выставляют ордена, почтительное отношение к арестанту ослабело и будет слабеть дальше с появлением нового класса людей — советского обывателя, который желает иметь то, чего требует также и обыватель западный: порядок и покой. Политические заключенные в «Воскресении» Толстого отлично видят в несчастной Масловой жертву общественных, а следовательно, и политических обстоятельств, и в конце концов они займутся ею, освободят ее и признают ее политзаключенной.

Преклонение перед писателями, перед интеллигенцией всегда было достаточно велико, поскольку именно они традиционно осуществляли изменение господствующего устройства. «Самиздат», эта неофициально размноженная и распространяемая рукопись, не прошедшая цензуры и в то же время приобретающая популярность (как, например, в наши дни рукописи Солженицына), имеет свою традицию, из которой вытекает совсем иное отношение к популярности, до сих пор вызывающей подозрения у западных интеллектуалов. Мы этого никогда не поймем до конца, а того меньше — сможем дать точный анализ, хотя бы и потому, что никогда не сможем понять до конца различий, множества оттенков между Советской Россией, остальными советскими республиками и другими социалистическими государствами.

Взяв русскую литературу девятнадцатого века как целое, я получу приблизительное представление о русском, «Войну и мир» — тоже всего лишь приблизительное — о Толстом. Существуют еще и необозримые расстояния, которые скрываются в творчестве одного писателя, как напряжение внутри понятия «славянское». Можно ли считать, что Достоевский «Игрока» иной, нежели «Братьев Карамазовых»? Где же тогда то как минимум неизменное, как максимум постоянно наращиваемое качество, которого требуют от автора Пфули литературной критики? И они правы, эпилог разочаровывает: Наташа, едва достигнув тридцати лет, уже превратилась в матрону, более чем заурядная, не чрезмерно, но достаточно ревнивая мать семейства, можно также хорошо себе представить, как Пьер с Николаем и неизменно привлекательным Денисовым, который все-таки дослужился до генерала, сидит в сумерках у огня, водрузив на голову какой-то неопишуемый колпак, и похож не то на дряхлого дедушку, не то на бабушку. И еще весьма ограниченный Николай рядом с этой доброй душой, с Марией Болконской, из которой получилась бы отличная настоятельница монастыря. А в один прекрасный день заявится этот непристойный Берг, тоже давно произведенный в генералы, и, насколько я его помню, начнет причитать по поводу утери «прелестной шифоньерочки», которая осталась в Москве, одновременно почитая эту утерю героическим подвигом.

После таких волнений, суеты, страданий, страстей все кончается до ужаса нормально. Не следует ли из этого, что автор, вооруженный множеством пушек, успешно стрелял по воробьям? Не придется ли после обильной трапезы растегнуть нижние пуговицы жилета и самую малость побранить правительство? Не утратит ли в конце концов даже и читатель-женщина охоту «идентифицировать» себя с такой Наташей. Подобно тому, как читатель-мужчина едва ли позавидует Пьеру. Правда, в конце останется еще Николенька Болконский, который грезит о своем отце, обожает Пьера и намерен совершать великие дела, — новая надежда, новое начало. Мне же эпилог представляется сознательно нацеленным ударом, своего рода мокрым «носовым платком». Будь Толстой способен продуцировать пошлость, он, верно, с умыслом сделал бы все столь же пошлым, как первый вариант заголовка «Конец — делу венец!» Но даже и его эпилог не упрекнешь в пошлости, он сознательно анти-идеалистичен, как мне кажется, и, должно быть, соответствует желанию автора хотя бы в одном произведении воплотить то, чего он никогда

не мог найти: обыденность. Для столь малообыденного человека, каким был Толстой, обыденность была недостижимой мечтой, как для обыденного человека — мечта «пожить жизнью художника», и эта нормальная семейная обыденность в конце горчайшим образом подвергнута сомнению в предшествующих эпилогу частях романа. «Плохо дело, а?» — «Что плохо, батюшка?» — «Жена!» — коротко и значительно сказал старый князь. «Я не понимаю», — сказал князь Андрей. «Да нечего делать, дружок, — сказал старый князь. — Они все такие, не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу, а ты сам знаешь».

Этот намек на отношение Андрея к его жене Лизе саркастичен и бьет в цель. А разве читатель, дойдя до хэппи-энда, уже забыл, что Наташа, будучи невестой Андрея, готова была позволить этому подонку Анатолю Курагину похитить себя? Много есть такого, что мешает поверить в счастливый конец. Может, следует вдобавок упомянуть, что история, все эти большие и малые войны для тех, кто некогда в них участвовал и остался жить, сохлись до убогой темы для разговоров. Если войны достаточно затягиваются, из капитанов становятся полковники, а то и генералы, и даже неугомонный Денисов, который грабежом добывал провиант для своих голодающих солдат, чуть не погиб в лазарете и время от времени вдруг взрывается, — даже он кончает в полном благодушии. На мой взгляд, этот хэппи-энд вовсе не так хэппи, хотя таков, возможно, был замысел.

За несколько лет до того, как обратиться к «Войне и миру», Толстой в одном письме говорил так:

«Чтобы жить честно, надо рваться, пугаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться, и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Возможно, эта цитата, которую можно бы расширить за счет множества равнозначных, и есть единственно мыслимый комментарий к счастливому концу «Войны и мира».

Можно много говорить о личности Толстого, о его отношении к «величию», которое он показывает на примере Наполеона, о его понимании «войны», которая представляется ему кровавой и абсурдной несурразицей, в свою очередь, воплощенной в несурразности Наполеона, чья активность парализована пассивностью горящей Москвы, о Толстом и о Западе, о католицизме (последняя эскапада Элен Курагиной состоит в том, что она вдобавок ко всему еще и принимает католичество).

Заметны и биографические черты, вечно переживаемое Толстым противоречие между жизнью, творчеством и учением,

по этому треугольнику его и мотало из стороны в сторону, и ежели «спокойствие — душевная подлость», то тогда его душа уж никак не отличалась подлостью. Не был он и олимпийцем, хотя его охотно возвели бы на несколько тронов, и умер он, как герой Достоевского, уж никак не мудро, растерзанный противоречивостями своей жизни, да и после смерти чаша сия его не миновала: были широко распахнуты двери его супружеской спальни, подняты простыни; большего разлада, злосчастливого непонимания, недоверия даже, чем между ним и его женой, ним и большей частью его семьи, ним и его учениками, приверженцами, толстовцами, просто вообразить нельзя. Ни от чего судьба не избавила его. Ни следа, ни тени намека на счастливый конец.

Итак, утолили ли мы свое любопытство, обрели писателя, обнаружили его укрытие? Где он, в чем он скрывается? В Болконском, в Пьере, а то и вовсе в Анатоле Курагине, в обоих Нехлюдовых (дважды — в «Маркере» и в «Воскресении» — дает он своим героям это имя), притаился ли он в Левине, который так же счастлив со своей Кити, как Пьер с Наташей? Не притаился ли он за лацканом у Кутузова или в табакерке у Багратиона? В Сперанском, главном идеологе царя? У Наташиного дядюшки, где удачная волчья охота так удачно завершается? Где он, этот автор, этот человек, о котором нам известно, что он испустил последний вздох в постели начальника станции, гонимый собственной славой, убитый отраженным светом этой славы, падавшим на его семью? Могу ли я предложить, чтобы мы оставили его в покое? Чтобы позволили ему просто быть, не только в жизни, творчестве и учении, чего хватило бы с лихвой, но и по частям в Болконском, Безухове, Левине и Облонском, возможно, даже с некоторыми чертами Вронского, некоторым «налетом» Сперанского, двух Нехлюдовых и еще по меньшей мере трех сотен остальных.

И разве справедливости ради не следовало бы предоставить ему возможность скрываться также в некоторых женских образах? Разве нам не достаточно знать, что судьба ни от чего его не избавила — не избавила даже от того, что он, возможно, счел для себя честью — публичного отлучения от русской православной церкви. Во всяком случае, мое любопытство уже удовлетворено, и, прежде чем окончательно опфулиться, я хотел бы предоставить ему последнее слово. Сказанное Толстым применительно к людям, оно, это слово, пожалуй, могло бы помочь нам, если отнести его к нациям.

«Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет свои определенные свойства, что бы-

вает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного, что он добрый или умный, а про другого, что он злой и глупый: А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки, вода во всех одинакова и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки» («Воскресение»).

Возможно, в этом и заключается попытка приближения к самому себе, возможно, не самая удачная и — как, пожалуй, подумает кто-нибудь из читателей — слишком «простая». Ну конечно же, Толстой был много, много сложнее, чем эта его попытка приблизиться к определению человеческого. Да он и сам не мог бы себя объяснить.

